

Виктория Токарева

Извинюсь.
Не расстреляют



И з д а т е л ь с т в о « А з б у к а »

Виктория Токарева

**Извинюсь. Не
расстреляют (сборник)**

«Азбука-Аттикус»

2015

Токарева В. С.

Извинюсь. Не расстреляют (сборник) / В. С. Токарева —
«Азбука-Аттикус», 2015

«Сколько раз в своей жизни я протягивала руку помощи и скольким людям. А когда помощь понадобилась мне, их не было рядом. Рядом случился незнакомый человек, совершенно случайно свалившийся на голову. Значит, принцип «ты мне, я тебе» не срабатывает, потому что добро бескорыстно. Ты мне, я другому, другой третьему – и так далее во времени и пространстве. И чтобы цепочка не прерывалась». В. Токарева

Содержание

Извинюсь. Не расстреляют	6
Между небом и землей	11
Не сотвори	20
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Виктория Токарева

Извинюсь. Не расстреляют (сборник)

© Токарева В. С., 1987, 1997

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

Издательство АЗБУКА®

* * *

Извинюсь. Не расстреляют

Однажды я написала статью «Он и Она». Статью опубликовали, я успела об этом забыть, когда в моей квартире раздался телефонный звонок и женский голос потребовал меня к телефону.

- Это я, – призналась я.
- Можно, я к вам приду?
- А зачем? – спросила я, хотя это было не очень вежливо.
- Посоветоваться о жизни.
- А почему вы хотите советоваться именно со мной? – удивилась я.
- Я прочитала вашу статью, вы мне больше всего подходите.
- Я растерялась от такого наивного доверия.

- Простите, а кто вы?
- Лида, – представилась незнакомка.
- Имя мало определяет человека. Его определяют возраст и профессия.
- Простите, сколько вам лет?
- Сорок.
- А где вы работаете?
- На овощной базе.

Теперь образ Лиды предстал более объемно.

- Вряд ли я смогу быть вам полезна, – честно предупредила я.
- А мне не надо пользы. Мне просто посоветоваться. И все.
- Хорошо. Я вас жду.

Я продиктовала адрес и положила трубку. Положив трубку, я пожала плечами и бровями, хотя видеть меня Лида не могла.

Отворилась дверь, и вошла моя шестилетняя дочь.

– Ты умеешь делать так? – спросила она и заскакала, заводя одну ногу за другую. Такие па в балете называются «веревочка».

– Умею, – задумчиво сказала я, продолжая думать о Лиде. Мне не жаль было своего времени, а жаль напрасных Лидиных надежд.

– Покажи.

Я хотела отказаться, но тогда дочь очень бы удивилась и спросила «почему?» и мне пришлось бы объяснять, что взрослые люди отличаются от маленьких тем, что не хотят скакать по утрам. Дочь снова бы спросила «почему?», и беседа могла затянуться.

Я покорно и хмуро проскакала «веревочкой», пятась при этом к окну.

Дочь внимательно смотрела на мои ноги, потом удовлетворенно кивнула головой и ушла.

Я сняла трубку и позвонила любимой подруге Милке. Мы созваниваемся с ней каждое утро и проговариваем свою жизнь. Я свою, а она свою. Наша дружба – это не что иное, как потребность оформить в словах свои впечатления.

– Ко мне сейчас Лида придет, – сказала я Милке.

Милка работает врачом в районной поликлинике и, должно быть, одним ухом прослушивает больного, а у другого уха держит телефонную трубку.

– Какая Лида?

– Позвонила какая-то Лида. Хочет посоветоваться...

– Не пускай ни в коем случае! – предупредила Милка. – Ты знаешь, что сейчас в Москве творится?

- Что? – растерялась я.
- Она тебя убьет и фотокарточек наделает.

– А фотокарточки зачем?

– На память.

– А ты не можешь ко мне сейчас прийти? – испуганно спросила я.

– Как же я приду, если я на работе?

Я молчала.

– Ну ладно... – Милка вошла в мое положение. – Если она начнет тебя убивать, ты мне позвони.

Раздался звонок в дверь.

Я положила трубку и пошла навстречу своей судьбе.

Передо мной стояла женщина в синем бостоновом пальто с серым каракулевым воротником. Эту моду я застала, когда ходила в третий класс начальной школы.

Я поняла, что это Лида. Я поняла, что убивать меня она не собиралась, ей это даже в голову не приходило.

Я поняла: у Лиды тяжело на душе. Ей не к кому пойти, чтобы проговорить свою жизнь, и она пришла к совершенно постороннему человеку. Видимо, понятие «писатель» для нее синоним понятия «справедливость». Она пришла за справедливостью.

– Проходите, – пригласила я. – Раздевайтесь, пожалуйста...

Лида сняла пальто, туфли и осталась в шапке. Я достала ей тапки, она их не надела.

Мы прошли в комнату, я предложила Лиде сесть на диван. Она села на самый краешек, и я видела, что сидеть ей неудобно.

Она была смущена тем, что физически существует в моих стенах, поэтому старалась, чтобы ее было как можно меньше.

– Хотите чаю? – предложила я.

– Нет-нет... – перепугалась Лида.

Она смущалась так, что не могла поднять глаз. Ее скованность передалась мне, мы сидели в каком-то гипнотическом оцепенении, и у меня через минуту заболела голова.

– Я вас слушаю, – сказала я, с состраданием глядя на свою гостью. Я готова была помочь ей в чем угодно, чего бы она от меня ни потребовала.

– Я на базе работаю... – начала Лида. – К нам болгарские помидоры привезли.

Я задумчиво покивала головой, как слон. Пока что все мне было ясно: Лида работает на базе, и к ним привезли болгарские помидоры. Я представила себе эти помидоры – некрупные, одинаковые, безвкусные, как трава, лишенные всякой помидоровой индивидуальности.

– Я недавно иду, смотрю, из-под шатра течет. Прихожу к Потякину, говорю: «Портится товар». А он говорит: «Спишем»...

Я представила себе шатер, похожий на очень большую брезентовую плащ-палатку, и снова покивала головой, как бы осуждая беспечность Потякина.

– Я говорю: «Что значит «спишем»? Надо перебрать». А он мне: «Спишем, тогда переберем»...

Лида посмотрела на меня открытым взором, и я увидела, что она освободилась от смущения и что глаза у нее серые, а брови подтемнены карандашом.

Я попыталась разобраться в ситуации: перебрать – означало отложить все хорошие помидоры в одну сторону, а все плохие – в другую. Потом плохие выбросить, а хорошие продать как хорошие.

Потякин предлагал списать весь шатер, чтобы он нигде не числился, потом плохие выкинуть. Хорошие продать как хорошие, а деньги взять себе.

– Ворует, что ли? – догадалась я.

– Мошенничает, – поправила Лида.

Мошенник – это промежуточное состояние между честным и вором. Это еще не вор, но уже не честный человек.

– Вы хотите, чтобы я про него написала в газете? – догадалась я.

– Боже упаси! – испугалась Лида. – У него дети. Разве можно позорить отца взрослых детей?

– Но если он мошенник?

– А как вы это докажете? – спросила Лида, будто это я, а не она работала под началом Потякина. – Он так все обдeldывает, у него комар носа не подточит.

– А что вы хотите? – прямо спросила я.

– Мне с ним работать противно, – уклончиво ответила Лида.

– Уходите.

– Куда?

– На другую базу. Не везде же воруют.

– Значит, я права и я уйду. А он останется...

До этого решения Лида могла бы додуматься самостоятельно. Не обязательно было ехать в такую даль.

– Может быть, его можно перевоспитать? – неуверенно предложила я.

– Он что, дошкольник? – спросила меня Лида. – Не понимает?

Я смутилась и сдвинулась на краешек дивана, а Лида, наоборот, села поудобнее.

– Значит, переделать его вы не можете. Позорить не хотите. Работать вам с ним противно, а уходить обидно, – подытожила я. – Что вы хотите?

Лида молчала. Она хотела, чтобы Потякин был честным человеком и ей приятно было бы с ним работать. Но это зависело не от нее и не от меня, а от Потякина.

Я чувствовала себя виноватой.

– И еще... – сказала Лида. – Меня муж обманул...

Я обрадовалась, что Лида дала мне вторую попытку, на которой я могла бы как-то реабилитироваться.

– Мы с ним не были расписаны, но жили вместе пятнадцать лет. Детей воспитывали. Мы так хорошо жили... А потом он влюбился в одну и расписался с ней. А мне ничего не сказал. Жил то тут, то там... Я только через полгода узнала. Спрашиваю: это правда? Он говорит: правда. Я говорю: ну и иди к ней.

– А он?

– Ушел. А сейчас обратно просится.

Лида посмотрела на меня. Ее глаза были будто вымыты страданием.

– Я хочу спросить: пускать мне его обратно или нет?

– Это вы сами должны решить, – убежденно сказала я.

Лида опустила глаза в колени.

– Вы его любите? – расстроилась я.

– Я ему больше не верю.

– Тогда не пускайте.

Лида сморгнула слезу.

– А вы можете без него обойтись?

Лида потрясла головой и вытерла щеку ладонью.

– Тогда пустите.

– Я боюсь, он у меня половину площади отберет. Я ему не верю.

– Тогда не пускайте.

Лида стянула шапку и сунула в нее лицо.

Я отошла к окну и стала смотреть на улицу. За окном виднелся детский сад, похожий на оштукатуренный мавзолей. Во дворе бегали дети в цветных веселых демисезонных паль-

тишках. А мы с Лидой решали и не могли решить ее проблемы: мошенничество Потякина, предательство мужа.

Может быть, надо бороться с мошенничеством и предательством, и это будет правда.

А может быть, устранимся и не играть в эти игры, и это тоже правда.

А может быть, смириться и оставить все как есть: работать с Потякиным, жить с мужем. И это будет правда с учетом судьбы и диалектики.

Если бы можно было разложить правды как помидоры: здоровые – в одну сторону, а гнилые – в другую. Но, откровенно говоря, выбирать Лиде не из чего, и, если пользоваться терминологией овощной базы, весь шатер течет и его надо списать.

– А вы не могли бы написать в газету, чтобы разрешили дуэли? – спросила Лида.

– А кого бы вы убили? – обернулась я.

– Я убила бы мужа.

– Но ведь и он бы вас мог убить.

– Да. Но тогда бы он видел это. И ему потом было бы стыдно. А так он меня убил, и ему хоть бы что... И вообще, никому ничего не стыдно. Потякин всегда пообещает и не сделает. Я ему говорю: «Как же вам не совестно!» А он: «Извинюсь. Не расстреляют».

– Вы хотите, чтобы расстреляли?

– Ну, не совсем так уж... – смягчила Лида. – Чтобы все по правилам.

– По каким правилам? – заинтересовалась я.

Мне стало ясно, что дуэль – это не сиюминутный экспромт, а плод долгих Лидиных размышлений. Именно за этим она ко мне и приехала.

– Сначала заявление на дуэль, как в загс, – начала Лида. – Потом заявление должны разобрать и дать разрешение. Потом две недели на обдумывание. А уж потом дуэль.

– А стрелять где? На Лобном месте?

– Нет. На Лобном месте – это казнь. Насилие. А тут – кто кого, все по справедливости.

– Какая же справедливость в смерти? Смерть – это наивысшая несправедливость.

– Конечно, – согласилась Лида. – Умирать кому охота? Вот и будут жить внимательнее.

– Внимательнее к чему?

– К каждому дню. К каждому поступку.

Зазвонил телефон. Я сняла трубку.

– Ну что? – спросила Милка. Она проверяла, жива я или нет.

– Я не могу говорить, – строго сказала я и положила трубку с бесцеремонностью, дозволенной между близкими людьми.

– Я вас задерживаю... – Лида встала.

Я пошла ее проводить.

Лида надела пальто, туфли.

Мы стояли, оттененные какой-то покорной грустью. Я была погружена в Лидин план возмездия. Земного суда.

– Три года на обдумывание, – предложила я. – Две недели мало в таком деле...

– А как вы думаете, могу я поступить в «Аэрофлот»? – спросила вдруг Лида.

– Кем?

– Все равно. Хоть в диспетчерскую... Вы знаете, я небо люблю. Я все болезни высотой лечу.

– Как это?

– Куплю билет до Ленинграда. Самолет поднимется на восемь тысяч метров, у меня все проходит. Я, наверное, раньше птицей была.

Я внимательно-доверчиво посмотрела на Лиду, ища в ее облике приметы птицы.

– Звоните, – сказала я.

Лида улыбнулась и ушла.

Я вернулась в комнату. Моя дочь сидела за пианино и тыркала в клавиши. Она училась в подготовительном классе музыкальной школы.

– Си-бемоль, – сказала я, поморщившись.

– Где?

Я подошла к инструменту и показала. Дочь нажала черную клавишу.

Может быть, подумала я, когда человеку трудно, не стоит искать смысла сразу всей жизни. Достаточно найти смысл сегодняшнего дня. А осмысленные дни протянутся во времени и пространстве и свяжутся в осмысленную жизнь.

Смысл сегодняшнего дня в том, что я научила дочь новому знаку, поправила маленькую ошибку. А завтра поправлю еще одну и научу не повторять предыдущих.

Я подошла к окну.

Лида уже пересекла дорогу и удалялась все дальше. Сейчас она свернет за угол, и ее шерстяная розовая шапка последний раз мелькнет в моей жизни.

Очень возможно, что Лида сейчас поедет в «Аэрофлот», купит билет до Ленинграда и поднимется на восемь тысяч метров.

Если облака не закроют землю, то внизу будут видны города, четкие ремни дорог и круглые озера величиной с пятикопеечную монету.

А мужа и Потякина будет не видно совсем. Их не разглядеть, даже если очень напрячь зрение.

Потом я подумала, что, если бы мне дали разрешение на дуэль, я выбрала бы место у Красного собора, возле метро «Юго-Западная». За собором – поле, за полем – лес, над куполом – небо. Там очень красиво и возвышенно разрешать вопросы чести и не обидно приобщиться к вечности.

Между небом и землей

Наташа сидела в аэропорту, ждала сообщения о своем рейсе. Рейс все время откладывали: сначала на три часа, потом на четыре. Этим же самолетом улетал в Баку на гастроли болгарский цирк. Циркачи расположились вольно, как цыгане: на полу, на креслах. Вокруг них бегали промытые, расчесанные болонки, одного возраста и роста. Наверное, у них в программе был свой собачий кордебалет.

Мимо Наташи прошел высокий мужчина, чем-то отдаленно похожий на ее первого мужа. Времени было много, голова пустая, и от нечего делать Наташа вспомнила свое первое замужество. В другом случае она бы про него не вспомнила.

Они поженились, когда ей было восемнадцать, а ему двадцать два. И тут же разошлись. Ну, не совсем тут же. Месяцев восемь они все же прожили. Брак оказался непрочным. Как только схлынула страсть, обмелела их река, обнажилось дно, а на дне всякие банки-склянки, мура собачья. Они стали ругаться, ругались постоянно и из-за ничего. Это болела их любовь, откашливаясь несоответствиями, и наконец умерла. Но, разойдясь, еще долгое время продолжали встречаться и продолжали ругаться. Они не могли быть вместе и не умели быть врозь. Тема их ссор была примерно такова: Наташа считала мужа дураком, не способным соответствовать ее красоте. Ей казалось, что фактор красоты должен давать в жизни дополнительные преимущества, как, скажем, билет на елку или продуктовый талон к празднику. А муж говорил, что красота – явление временное и преходящее. Она обязательно уйдет лет через двадцать и помашет ручкой. А его способность к устойчивому чувству, именуемому «верность», – навсегда. Это не девальвируется временем. Так что он – муж на вырост. Сейчас немножко не годится, зато потом – в самый раз. Но в восемнадцать лет невозможно думать о потом. Жизнь представляется непомерно долгой, кажется, что всего еще будет навалом и все впереди...

Они разошлись и встретились через двадцать лет. Он был женат во второй раз, имел дочь, которую назвал ее именем. Жил в другом городе. Наташа попала в этот город по делам службы. Она знала, что экс-муж живет где-то здесь. Позвонила ноль девять, назвала его фамилию. (Она ее помнила.) Ей дали телефон. Наташа набрала номер и услышала его через двадцать лет. Голос не изменился. Голос – инструмент души, а душа – не стареет. Вечная девушка. Они разговаривали друг с другом прежними молодыми голосами.

– Здравствуй, – сказала Наташа. – Только не удивляйся.

– А кто это? – насторожился он.

– Это твоя жена за номером один.

Настала пауза – такая длинная, что Наташа подумала: телефон разъединили.

– Алло? – позвала она.

– Я сейчас приду, – сказал экс-муж. – Куда?

Она назвала гостиницу и номер.

Положив трубку, занервничала. Было непонятно: зачем позвонила? Зачем позвала?

Надела белую французскую кофточку. Потом передумала и поменяла на черную: к фигуре лучше, зато хуже к лицу. Надо было выбирать между лицом и фигурой.

В дверь постучали скорее, чем она предполагала. Она открыла и увидела своего первого мужа. Эти двадцать лет его слегка расширили, плоскости щек стали больше. Но выражение лица и вся его сущность остались прежними, и эта сущность откровенно выглядывала из окошек больших зеленовато-бежевых глаз.

– Какая ты стала... – проговорил он и покивал головой, как бы подтверждая свою правоту: красота миновала, как станция, и именно через те самые двадцать лет, о которых он честно предупреждал.

– А ты совершенно не изменился, – ответила Наташа, подтверждая, что он каким дураком был, таким и остался.

Наташа действительно изменилась за двадцать лет. Если сравнивать Наташину красоту с природой, то раньше она была луговая, а стала полевая. Но кто знает, что лучше: луг или поле.

Удивительно было другое: они начали ссориться с той самой фразы, на которой прервались двадцать лет назад. Как будто не было этих двадцати лет и они расстались только вчера с этими же претензиями.

Потом спустились в ресторан поужинать. Выпили вина. Он стал рассказывать, как долго и мучительно переживал свой разрыв с ней. Женился потому, что боялся спиться.

– Но ведь пережил, – успокоила Наташа, уходя от неприятной темы и давая понять, что все плохое уже позади. В прошлом.

– Но ведь я переживал... – Он подчеркнул слово «переживал», настаивая на длинном куске жизни, отданном страданию.

– Страдать полезно, – как бы оправдалась Наташа. – Страдания формируют душу.

– Ерунда, – не согласился он. – Не помню, кто-то сказал: «Счастье – вот университеты». Страдания иссушают душу. А из засухи ничего путного не возрастает. Всякие сорняки вроде злости.

Он действительно оказался способен к устойчивому чувству. Сначала он ее любил. Потом ненавидел. Теперь не простил. Значит, она была с ним всегда.

Выпили еще. Наташа рассказала о своей диссертации. Она изучала наследственный код маленьких мушек дрозофил. Дрозофилы – это те, что любят фрукты. И мушки дрозофилы, летающие над фруктами, больше похожи на пыль, чем на живые организмы. А она их скрещивала, изучала и делала через них серьезные выводы, касающиеся всего человечества.

Первый муж рассказал, что после своего медицинского стал специализироваться на зубном протезировании. У него прекрасные заграничные фарфоровые материалы, и спрос на него превышает его физические возможности. Подо всем этим подразумевалось, что денег – куры не клюют и Наташа поторопилась тогда, двадцать лет назад. Сейчас он был бы ей как раз впору.

– Ты замужем?

– Да, – соврала Наташа. Она была замужем, но не до конца.

– А ты изменяешь своему мужу?

Это был главный вопрос. Женская верность – вот его главное требование к женщине, и, если Наташа отвечала этим требованиям, значит, его утрата была невозможна.

– Как тебе не стыдно? – удивилась Наташа.

– Так да или нет?

– Никогда!

Первый муж расстроился и поник. То, что в нем осело и успокоилось за прошедшую жизнь, вновь всплыло со дна души, как бывает, если в пруду поворошить палкой, и поднимаются тина и грязь, а может, даже и череп с костями.

Потом они расстались. И это еще на двадцать лет. Город, в котором он жил и работал, был маленьким, командировки туда были случайностью, да и не в этом дело. Дело было во взаимной бесполезности.

Разойдясь с мужем, Наташе казалось, что она вновь выйдет замуж очень скоро. Что стоит ей выйти на улицу и крикнуть: «Хочу замуж!» – как тут же сбегутся толпы и выстроятся в длинную очередь. Но она была наивна в своей самоуверенности. Поиском счастья занято все человечество, а находят его единицы. Ну, десятки... Ну, даже сотни. Но что такое одна сотня на все человечество... Однако Наташе удалось со временем попасть в сотню, и даже в десятку, когда она полюбила Китаева, профессора биохимии, автора четырнадцати блестящих открытий, в том числе гипотезы о возрасте Земли. Казалось, что у него в голове не мозги, а какая-то сверхмощная электростанция, которая генерирует идеи, заряжая ими окружающих. Он разда-

ривал идеи направо и налево, был щедр, как всякий талант, как курочка-ряба, которая несет золотые яйца и не дрожит над каждым. Она знает, что следующее – тоже будет золотым.

Внешне Китаев был лысоват, желтоват, сух, походил на камбоджийца, хотя не имел к этой стране никакого отношения. Он был похож на мать, и с возрастом это сходство увеличивалось.

Наташа не замечала его некрасоты. Красавец у нее уже был. Она видела Китаева своим собственным зрением, и все остальные мужчины рядом с ним казались бледными и невразумительными, как десятый оттиск через копирку.

Китаев долгое время не мог поверить в Наташину любовь, потом все же поверил, а за долгие годы и попривык, как к жене, хотя Наташа не была его женой. Женой считалась другая. Но эта другая ничему не мешала, а Наташа ничего не требовала, и создалась возможность ничего не менять. Постоянные перемены клубились в золотых мозгах Китаева, а к внешним переменам он был холоден.

Иногда Наташе казалось, что завтра, именно завтра, а не послезавтра, он сделает ей предложение – так глубоко было их прорастание друг в друга. А иногда ей казалось, что этого не случится никогда. Можно было бы не гадать, а прямо спросить, но в вопросах – и вообще в словах – есть конкретность. Музыка – высшее из искусств, потому что она не конкретна. Музыка и любовь должны быть вне слов. Во всяком случае – вне вопросов.

И сегодня утром, когда Китаев позвонил ей из Баку, где пребывал на симпозиуме стран Азии и Африки, и позвал Наташу приехать на последние пару дней, она не стала спрашивать: зачем? И так ясно. Соскучился. Не может дожить без нее оставшиеся дни. Но из этих двух дней десять часов уже украдено, отдано черту. Она сидит в московском аэропорту, а он в бакинском – выкинут в бездействие и ожидание и наверняка жалеет, что затеял этот марш-бросок.

Медный голос над залом объявил посадку. Циркачи задвигались, собаки дружно залаяли, как будто поняли и обрадовались.

Наташа пристегнула ремни. Ее тошнило от страха и подъема и оттого, что в ней девять часов бродило и переставало чувство к Китаеву.

Самолет шел толчками, а потом куда-то оседал вниз, и всякий раз, когда он оседал, сердце катило к горлу в предчувствии конца. Она не столько боялась самого конца, сколько дороги к нему. А дорога предстояла длинная, секунд в тридцать, и что самое неприятное – осмысленная. У Наташи был дальний родственник Валик, которого завалило в шахте. На него упало сорок тонн породы, и понадобилось много вагонеток, чтобы его откопать. Откопали его с седыми бровями, хотя это был молодой человек. Значит, какое-то время, может быть, секунд тридцать, а то и шестьдесят, он жил, полностью понимая, что с ним случилось. Его жена Надька падала на гроб с неподдельным безумством отчаяния, как великая итальянская актриса Анна Маньяни. В тех южных районах похороны – своего рода спектакль, катарсис, очищение, когда выдыхаешь в крике все отчаяние, несогласие с судьбой. А люди вокруг, заразившись чужим несогласием, тоже плачут и выдыхают свое собственное, чтобы облегчить душу и жить дальше. Надька падала на гроб, ее оттаскивали. Фотограф запечатлевал эти мгновения. Однако через неделю у Надьки уже ночевал некий Петько. Оказывается, он имел место еще при жизни мужа и они еле-еле переждали эту неделю. Соседи были недовольны, и в обиходе ходила фраза: «Еще пятки не успели остыть», имея в виду пятки Валика. Но больше всех убивалась Надькиной изменой ее мать, теща Валика. Она приходила к ним в дом и допрашивала Надькину дочку-подростка:

– Вин ночевав?

– Ночевав, – хмуро отвечала девочка.

– На кровати? – пугалась Надькина мать.

– А дэ ж? – удивлялась девочка. – Пид кроватью, чи шо?

Надькина мать начинала плакать, ломая руки.

– Но ведь вин же був... був... А вона – як його николи не було...

Надька вела себя так, как будто Валика никогда не было. А ведь он был... был... И вот это моментальное забвение пугало Надькину мать больше всего. Как будто Валика завалило породой два раза. Один раз – живого, а другой раз – мертвого.

Наташа боялась этого же самого. Она знала, что живой думает о живом. И если она сейчас разобьется на самолете вместе с самолетом, то Китаев, не забыв ее, но, задвинув в дальний ящик памяти, будет смотреть в другие глаза. Забвение – это еще одна, дополнительная смерть.

Самолет набрал высоту. Наташа откинула спинку кресла, закрыла глаза. Самолет больше не взмывал. Сердце не подкатывало. Она решила посмотреть, что делается внизу и вокруг.

Вокруг все спали, открыв рты, и большое количество спящих мужчин напомнило картину «Поле после битвы». Возле нее сидел молодой человек, по виду баскетболист, на полторы головы выше довольно высокой Наташи.

Она выглянула в иллюминатор, увидела космическую черноту и пламя, которое выбивалось из-под крыла самолета.

В мозгу произошло полное оцепенение, и в этом оцепенении прозвучало одно только слово: «Неприятно», – будто его записали на магнитофонную пленку и пустили в пустой голове. Как будто кто-то посторонний в ней бесстрастно произнес: «Неприятно». О Китаеве в мозгу не было сказано ни слова. Но тело среагировало по своим собственным законам, независимым от головы. Она схватила за руку сидящего рядом Баскетболиста так, что ее пальцы сошлись в его руке.

– Ой! – сказал Баскетболист. Для него были неожиданны и боль, и фактор прикосновения.

– Мы горим, – сказала Наташа относительно спокойно для такого сообщения.

Баскетболист перегнулся к иллюминатору и внимательно посмотрел за окно.

– Это сигнализация, – сказал он. – Опознавательные знаки.

– А зачем они нужны? – не поверила Наташа.

– Чтобы на нас не наскочил другой самолет.

Наташа снова припала к иллюминатору. Огни действительно вспыхивали с одинаковыми промежутками, будто пульсировали. А пожар имеет более стихийный вид и характер.

По салону прошла стюардесса – деловито и бесстрастно. Так не ведут себя при катастрофе, даже при большом мужестве.

В самолете погас свет. Видимо, пассажирам предлагалось поспать. Наташа закрыла глаза. Баскетболист тоже откинул кресло, и их головы оказались рядом. И было такое впечатление, будто они лежат в одной кровати. От него исходило тепло, тянуло как от печки. Хотелось не отодвинуться, а приблизиться, чтобы не было так одиноко и страшно между небом и землей. Он подвинул к ней локоть – чуть-чуть, на полсантиметра. Но она услышала эти полсантиметра. И не отодвинула руку. Из его локтя текла энергия молодого биополя. Эта энергия обволокла Наташу, и они полетели вместе в одном облаке. Было темно, тихо, но она слышала, как в тишине, будто молот, стучало его сердце в грудную клетку. Наташа независимо от себя самой положила голову на его плечо. Он опустил свое лицо в ее волосы. Теперь их сердца стучали вместе – и было совершенно не страшно падать. Только бы вместе.

– Ты из Баку? – спросила Наташа.

Надо же было как-то общаться. Неудобно было в этой ситуации оставаться незнакомыми.

– Из Баку. Да.

– Но ведь ты русский...

– Там и русские тоже живут.

– А чего они там забыли?

– Хороший город...

– А что ты делал в Москве?

- На сборах был.
- Ты спортсмен?
- Спортсмен. Да...

Они разговаривали шепотом, потому что страсть забила горло. И разговаривали только для того, чтобы как-то отвлечься и оттащить себя от неодолимой тяги. Именно неодолимой, ее невозможно было одолеть.

Баскетболист наклонился и поцеловал Наташу. Губы у него были осторожные, мягкие, как у лошади.

Сердце подошло к горлу – так, будто самолет упал в воздушную яму. Но это упала или, наоборот, вознеслась ее душа, а самолет шел нормально. Поцелуй был осторожный, целомудренный, как будто они касались друг друга не губами, а предчувствиями.

Наташа ни разу в своей жизни не испытывала ничего похожего. Более серьезные свершения, которые во взрослом языке именуются «любовь», не имели к этому состоянию никакого отношения. Как слова к классической музыке. Как текст ко Второму концерту Рахманинова.

– У тебя есть кто-нибудь? – спросил он.

– Жених. Я к нему лечу...

– Да... Ты еще молодая...

Он не разобрал в потемках, сколько ей лет.

– А у тебя есть девушка?

– Невеста. Снежана. Я к ней божественно отношусь.

– Она болгарка? – догадалась Наташа.

– Болгарка. Да. Я к ней божественно отношусь. Но то, что я чувствую к тебе, я не чувствовал ни к кому и никогда и даже не знал, что так бывает.

– А что ты чувствуешь?

– Не знаю. Это как солнечный удар.

Наташа отстранилась и посмотрела на него. Она ведь его еще и не видела. Молодое лицо, обтянутое кожей, тревожные глаза. Ей показалось недостаточным видеть его, она протянула руку к его лицу и обожала его пальцами, как слепая, пытаясь запомнить его черты в ощущениях. Он не удивился. Все, что происходило между ними, казалось естественным и, более того, единственно возможным. Как будто это не самолет в ночи мерцал огнями, а их души давали друг другу опознавательные знаки.

– Как ты живешь? – спросила Наташа.

– Мучительно. Я мучаюсь.

– Чем ты мучаешься?

– Я хочу воскресить свою маму. Можно воскресить человека из мертвых?

– Нет. Нельзя.

– А откуда вы знаете?

– Я биолог. Я знаю это наверняка. Это единственное, чего нельзя добиться. Все остальное можно.

– Но ведь восстановили же древних лошадей. Тарпанов. Скрещивали, подбирали и восстановили. И сейчас в Аскания-Нова ходит целое стадо тарпанов.

– Восстановили биологический вид. А индивидуальность восстановить невозможно. Личность неповторима.

– Но ведь был такой философ Федоров. Современник Льва Толстого. Он считал, что через потомков можно будет воскресить предков. Восстановить личность.

– Природа заинтересована в смене поколений. Люди рождаются, стареют и умирают, чтобы дать место молодым. Колесо жизни нельзя крутить в обратном направлении.

– Но мама не постарела. Она умерла молодой. Она не дожила.

– Надо смириться.

– Я не могу смириться. Я не могу без нее жить. Я даже хотел уйти за ней следом... Вы думаете, я сумасшедший?

– Нет. Я так не думаю.

Наташу действительно не удивило его желание: воскресить. Вернее, удивило, но она понимала, что им движет. Его двигательную пружину. Надька рассталась со своим мужем Валиком еще до того, как он погиб, и фактор гибели ничего не изменил. А Баскетболист не расстался со своей мамой и после смерти, наоборот, он слился с ней в одно, и вынужденная разлука воспринималась им как противоестественная. Вернее, не воспринималась вообще. Он искал выход: либо уйти к маме, либо вернуть ее к себе. Он остановился на последнем.

– У нас никого больше не было на свете: только она у меня, а я у нее. Нас отец бросил, когда мне был месяц, а ей девятнадцать лет. Я даже не знаю: был ли он вообще. Я никогда его не видел. Мы жили не то что бедно – в нищете. У нас иногда в день была одна тарелка пустого супа. А однажды я всю зиму просидел дома, у меня не было теплых ботинок...

Наташа легла на свое откинутое кресло, лицом к нему, вдыхая голос и слова.

Он рассказал о том, что мать закончила театральное училище, но ни один театр ею не заинтересовался. Должно быть, она была очень слабая актриса. Деньги она зарабатывала, иллюстрируя лекции от общества «Знание». Лектор читал, скажем, о творчестве Максима Горького, а она выходила в платье до пола, с длинным газовым шарфом и декламировала «Буревестник», изображая шарфом то бурю, то море. Наверное, мама могла бы выйти и в нормальном костюме – юбке и кофточке. Но она была актриса в принципе своем. В ней жила потребность лицедейства и самовыражения. Но потребность не совпадала с реальностью. Талант ее был маленького росточка, она не хотела этому верить. Редко кто из людей, зараженных микробом творчества, может сказать себе: я бездарен. Для этого нужен особый ум и особое мужество. А потом она заболела и умерла. В больнице. Это случилось год назад. Он, ее сын, находился при ней неотлучно и днем, и вечером. Его карманы были набиты мятыми рублями, нянечкам совать, но он все делал сам. Однажды лечащий врач сказал: «Потерпи, уже недолго осталось, дня два-три...» А Баскетболист смотрел и не понимал: о чем он... Он готов был жить так всю оставшуюся жизнь, не есть, не спать, не присесть даже, только бы мама дышала и моргала. А в один из дней, утром, он вышел на лестницу покурить, и когда вернулся, то в первое мгновение ничего не понял. Мама была, но ее больше не было. Она куда-то ушла, оставив свое тело, как бросают дома в деревнях.

В палате находилась еще одна женщина, мамина соседка. Она указала дрожащим пальцем и проговорила шепотом:

– Она умерла...

– Да... – так же шепотом отозвался он.

– Скажите, чтобы ее убрали.

– Это нельзя. Ее нельзя трогать.

– Почему?

– Порядок такой.

Он надеялся, что ее еще можно вернуть, отозвать оттуда, куда она только что ушла.

– Но я же не выдержу. Я с ума сойду.

– Я ничем не могу помочь.

– Но позовите кого-нибудь.

– Я позову. Но это ничего не даст.

Женщина говорила шепотом и спокойно, и он тоже отвечал ей шепотом и пытался, как ему казалось, растолковать. Но это был разговор двух обезумевших от горя людей: шепотом и очень логично.

А потом он ходил к врачу, сначала лечащему, потом к заведующему отделением, и умолял, чтобы маму воскресили, и все время извинялся за беспокойство. Ему сделали укол и отправили домой. Дома он вскрыл вены.

– А Снежана? – спросила Наташа.

– Она не имела значения. Я ее не учитывал.

Замолчали.

– Вы думаете, я ненормальный? – снова спросил Баскетболист.

– Нет. Я так не думаю. Просто вы молодой и не умеете терпеть горя. Вы еще не научились терпеть.

– Может быть, и так. Но мама не должна была умереть. Это нечестно. Она жила мало и плохо. Она знала одни унижения и как актриса, и как женщина. А где компенсация? Смерть?

– Каждый человек жнет то, что сеет. Это жестоко, но это так.

– Она сеяла нежность и наивность...

– Значит, она сеяла не на той ниве.

– Как? – не понял Баскетболист и придвинул ближе напряженное непониманием лицо.

– Не ту профессию выбрала. Не тому мужчине родила.

– Она родила не тому. Но того! Я любил и люблю ее больше всех людей.

– Судьба...

– Нет! – шепотом вскричал он. – Это нечестно!

Он сжал кулак, сунул его в зубы и затрясся в плаче.

Наташа никогда не видела плачущих мужчин. Правда, ее первый муж несколько раз принимался плакать в пьяном виде, но там были другие слезы.

Наташа отняла его кулак от зубов, разомкнула пальцы и опустила свое лицо в его руку. Она хотела, чтобы он ощущал ее рядом с собой. Чтобы они держались друг за друга между небом и землей.

– Женись на Снежане, – сказала Наташа. – Роди дочку. Назови ее именем своей мамы. Как ее звали?

– Александра.

– Вот. Назови Александра. Это замечательное имя. Его можно как угодно сокращать: Аля, Сандра, Шура, Саша... Она будет похожа на тебя, потому что девочки похожи на отцов. А мальчики на мать. Сандра через тебя будет походить на твою маму, и ты ее воскресишь...

– А тебя как зовут?

– Наташа.

– Самолет пошел на снижение, – казенно-женственно объявила стюардесса. – Приведите кресла в исходное положение, пристегните ремни.

Зажегся свет. Пассажиры задвигались, пристегивая ремни. Наташа посмотрела на Баскетболиста, давая тем самым возможность рассмотреть себя при ярком свете. Но он не видел возрастной разницы между ними. Похоже, солнечный удар произвел в его мозгу стойкие изменения.

– Мы увидимся? – спросил он.

– Нет, – сказала Наташа. – Это невозможно. Я не одна.

– Ну и что? Может, вы найдете время?

– Может, и найду. Но зачем?

Он не ответил. Что на это можно сказать?

Самолет пошел вниз, утробно воя. Садился толчками, как и взлетал. Под крылом колыбалась тошнотная неустойчивость. Видимо, командир корабля не был прирожденным летчиком. Просто научили.

Аэродром отделялся от города железной решеткой.

Китаев стоял по другую сторону решетки, напряженно, не отрываясь, смотрел на дверь, откуда Наташа должна была появиться, и в этот момент походил на благородного хищника.

Наташа пошла не в дверь, а остановилась возле железных прутьев, глядя на Китаева со стороны в прямом и переносном смысле этого слова. Потом тихо окликнула:

– Китаев...

Он быстро повернулся, подошел к решетке и, продев руки сквозь прутья, обнял ее, поцеловал крепко и взволнованно. Губы у него были узкие, жесткие. Поцелуй не дошел до сердца. Так и остался на губах.

Пока дожидались багажа, Китаев жаловался на задержку рейса. Потеряна ночь, которая потянула за собой неполноценный день. Можно было бы сказать: «А я при чем? Не надо было звать». Но Наташа помалкивала с виноватым видом. Китаев не знал ее вины. А она знала: она не вспоминала о нем в минуту смертельной опасности и провела ночь с другим. Двойное предательство.

Пришел багаж. По кругу медленно закрутилась широкая лента. На нее из темноты, как из космоса, выпадали чемоданы, баулы, сумки. Недавние пассажиры, а сейчас просто невыспавшиеся люди стояли вокруг и заворуженно следили за лентой, как смотрят в руки Деда Мороза, хотя ничего, кроме собственного чемодана, они получить не могли.

И тут Наташа увидела Баскетболиста. На земле он выглядел очень убедительно: прямой, высокий, с прекрасной головой на сильной шее. Такие шеи мультипликаторы рисуют Иванам-царевичам и Иванам-дуракам. Он с открытым недоумением смотрел на Китаева и не мог взять в толк: почему Наташа уходит от него к этому усохшему пристарку? Почему нельзя достать живую воду, чтобы воскрешать из мертвых? Почему нельзя отбить у Кашея свою Царевну-лягушку?.. Его синяя, спортивная, даже на вид тяжелая сумка несколько раз проплыла мимо него, наталкиваясь и громоздясь на другие чемоданы. И так же наталкивались и громоздились в нем вопросы, и от этого его глаза становились больше и темнее.

Китаев взял с ленты знакомый рыжий Наташин чемодан, и они пошли из багажного отделения. Предъявили контролеру бирку.

Перед тем как выйти наружу, Наташа обернулась. Баскетболист вывернул голову, как птица. У него были кричащие глаза, как у цыганенка.

Был в ее жизни такой случай: как-то летом они с матерью жили на даче и к ним во двор вошла цыганка. На ее руках сидел невиданной красоты замызганный цыганенок и держал перед собой чумазую раскрытую ладонку. Цыганка потребовала еды, одежды и денег. Она требовала по максимуму, потому что знала: чтобы получить рубль, надо просить десять. Мать пошла в дом и вынесла то, что было не жалко или не очень жалко: пирог с мясом, деньги и старый халат. А в руку цыганенка положила недавно сваренную в мундире картофелину. Потом испугалась, что картофелина недостаточно остыла, и грубо сорвала ее с маленькой ручки. Глаза цыганенка мгновенно выросли от обиды и слез, и он заплакал – тихо и горько, как оскорбленный человек. Он не понимал, что картофелину отобрали для его же блага. И Баскетболист тоже не понимал, что Наташа уходит для его блага. У него были те же кричащие глаза.

Люди и обязательства соотносятся друг с другом, как Земля и Деревья. Корни деревьев, как гигантские руки, уходят глубоко в землю, держат ее и держатся сами. Земле нужны деревья, и деревьям нужна земля. Обязательства существуют не только между живыми и мертвыми, но между живыми и живыми. Надо быть хорошо уверенным, что, вырвав дерево, ты посадишь на его место новое, оно приживется и вырастет. А то ведь одно вырвешь, другое не посадишь – и будешь стоять над развороченной воронкой и смотреть на дело рук своих.

Наташа уходила за Китаевым, а в ее затылок, как затвердевший луч, упирался взгляд Баскетболиста. И долго потом, в течение почти недели, она чувствовала его взгляд болевой точкой на затылке.

Да... А при чем тут первый муж? Совершенно ни при чем. Просто тогда, в начале жизни, ничего не стоило порвать неокрепшие корни, выкрутить и выкинуть. Казалось, что все еще будет и все впереди.

Не сотвори

Жена постоянно тормозила вес, и в доме постоянно не было хлеба. Трофимов по утрам открывал деревянную хлебницу, видел там черствые заплесневевшие куски в мелких муравьях, и ему казалось, что эти куски – как вся его жизнь: безрадостная, несъедобная, в каком-то смысле оскорбительная.

Жена появлялась на кухне с виноватым видом и спрашивала:

– А сам не мог купить? Ты же знаешь, я мучное не ем.

– Но ведь ты не одна живешь, – напомнил Трофимов.

– Одна, – мягко возражала жена. – Ты меня в упор не видишь.

Это было правдой. Трофимов любил другую женщину. Ее звали Сильваной, она жила в Риме.

У них не было или почти не было перспектив. Существовало только прошлое, да и то, если честно сказать, это прошлое касалось одного Трофимова.

Трофимов увидел Сильвану в итальянском фильме «Всё о ней». Она сыграла главную роль, и больше фильмов с ее участием в Москве не появлялось. Может быть, Сильвана вообще ушла из кино, а может, продолжала работать, но эти фильмы перестали закупать. Трофимов видел ее только один раз. Ему было тогда пятнадцать лет, он учился в восьмом классе. Сильвана появилась на экране большая, роскошная и породистая, как лошадь. У нее были громадные, неестественно красивые глаза и зубы – такие белые и ровные, каких не бывает в природе, поскольку природа не ювелир, может допустить изъясн. Сильвана была совершенством, торжеством природы. Она обнимала обыкновенного, ничем не примечательного типа, прижимала его к себе большими белыми руками. Потом плакала, приходила в отчаяние, и слезы – тоже крупные и сверкающие, как алмазы, – катились из ее прекрасных глаз.

Пятнадцать лет – возраст потрясений. Трофимова Сильвана потрясла в прямом и переносном смысле. Его бил озноб. Он не мог подняться с места.

– Ты что, заболел? – спросил друг и одноклассник Кирка Додолев.

Трофимов не ответил. Он не мог разговаривать. Почему-то болело горло. Сильвана вошла в него как болезнь, золотистый стафилококк, который, как утверждают врачи, очень трудно, почти невозможно выманить из организма. Он селился навсегда. Иногда помалкивает в человеке, и тогда кажется, что его нет вообще. Но он есть. И дает о себе знать в самые неподходящие минуты.

Окончив школу, Трофимов пошел в университет на журналистику с тайной надеждой, что его пошлют в Италию и он возьмет интервью у Сильваны. Все начнется с интервью. Вернее, у него все началось раньше, с его пятнадцати лет. А у нее все начнется с интервью. Трофимов учил языки: итальянский, английский, японский – вдруг Сильвана захочет поговорить с ним по-японски.

Каждый язык похож на свою национальность, и, погружаясь в звучание чужих слов, Трофимов чувствовал другой народ на слух, становился то немножко англичанином, то немножко японцем.

Для того чтобы попасть в Италию, надо быть не просто журналистом, а хорошим журналистом. Трофимов много и разносторонне учился, превращаясь на глазах у изумленных родителей из бездельника в труженика. Впоследствии потребность в труде стала привычкой, и он уже не вернулся в шкуру бездельника.

В конце третьего курса двадцатилетний Трофимов получил первый приз журнала «Смена» за лучший очерк, и его фотографию напечатали на предпоследней странице. Фотография была темная, неудачная, но все же это было его лицо, тиражированное в несколько тысяч экземпляров. Оно уже как бы отделялось от самого Трофимова и принадлежало всему чело-

вечеству. Это обстоятельство приближало его к Сильване. Они были почти на равных. Трофимов собрал весь курс, и они пошли в ресторан праздновать событие. Гуляли самозабвенно и шумно. Жизнь твердо обещала каждому славу, любовь и бессмертие. Но вдруг, в самой высокой точке праздника, Трофимов ощутил провал. Наверное, из закоулков его организма вылез золотистый стафилококк и пошел гулять по главным магистралям. Трофимов вдруг понял: какая это мелочь для Сильваны – премия журнала «Смена» и гонорар в размере сорока рублей старыми. Трофимову стало все безразлично. Он старался не показать своего настроения друзьям, чтобы не портить им веселье. Но если бы он попытался объяснить, что с ним происходит, его бы не поняли и, может, даже побили.

После первой премии Трофимов получил вторую – премию «Золотого быка» в Болгарии. Потом – премию Организации Объединенных Наций. А потом Трофимов эти премии перестал считать. Просто он стал хорошим журналистом. Как его шутя называли, «золотое перо». Но какая это была мелочь для Сильваны...

Трофимов долго не мог влюбиться и долго не мог жениться, потому что все претендентки были как лужицы и ручейки, в крайнем случае реки, в сравнении с океаном. Любовь к Сильване делала Трофимова недоступным для других женщин. А недоступность красит не только женщину, но и мужчину. Трофимов казался красивым, загадочным, разочарованным, как Лермонтов. Женщины падали к его ногам в прямом и переносном смысле этого слова. Одна из них упала к его ногам прямо на катке, рискуя получить увечья, потому что Трофимов шел по льду со скоростью шестьдесят километров в час, как машина «Победа». Сейчас эту марку уже не выпускают, а тогда она была популярна. Трофимов споткнулся о девушку и сам упал, и все это кончилось тем, что пришлось проводить ее домой. Девушку звали Галя. Тогда все были Гали, так же как теперь все Наташи. Дома Галя предложила чаю. А за чаем призналась, что упала не случайно, а намеренно. У нее больше не было сил терпеть неразделенную любовь, и она согласна была погибнуть от руки, вернее, от ноги любимого человека. Оказалось, что Галя любила Трофимова с восьмого класса по десятый, а потом с первого курса по пятый. Она училась с ним в одной школе, но в разных классах. Потом в одном вузе, но на разных факультетах, и Трофимов ее не помнил или почти не помнил. Весь женский мир был расколот для Трофимова на две половины: Сильвана и Не Сильвана. В первую половину входила только одна женщина, а во вторую все остальные. И если ему не суждено было жениться на Сильване, то в качестве жены могла быть любая из второй половины. Почему бы и не Галя, если она так этого хочет.

Свадьбу отмечали у Гали дома. Народу было – не повернуться. Все не уместились за столом, ели в две смены, как в переполненном пионерском лагере, но все равно было шумно, гамно и отчаянно весело.

Галя обалдела от счастья и от тесных туфель. У нее была большая нога, тридцать девятый размер, она стеснялась этого и надела туфли на два размера меньше, чтобы нога казалась поизящнее. В ту пору считалось красиво иметь маленькую ножку. Потом, через много лет, Галя покупала обувь на размер больше, чтобы удобно было ходить, и носила не тридцать девятый, а сороковой. И ей было безразлично мнение окружающих. Хотя окружающие, ни тогда, ни теперь, не обращали внимания – какого размера обувь на ее ногах. Все было в ней самой. Молодость отличается от немолодости – зависимостью от мнения окружающих. Вообще зависимостью.

На свадьбе тоже никто не заметил Галиной жертвы, все веселились на полную катушку, и она чувствовала себя как мачехина дочка, которая сунула ногу в хрустальный башмачок. Кончилось все тем, что она вообще сняла туфли и ходила босиком. Кто-то разбил рюмку. Галя наступила на осколок и порезала ногу. Трофимов помчался за полотенцем, стал перед ней на колени и в этот момент ощутил знакомый провал. Он стоял на коленях не перед Сильваной. Сильвана осталась в Риме со своим мужем, не Трофимовым, а каким-нибудь миллионе-

ром, владельцем завода шариковых ручек, электронных часов, экскурсионных бюро, отелей, да мало ли чего еще владелец. А у него, у Трофимова, – свадьба в коммуналке, треска в томате, винегрет и холодец, Галя в тесных туфлях и кровь на руках, как будто он собственноручно зарезал свою мечту.

Гости вокруг них взялись за руки. А Трофимов стоял на коленях в центре хоровода и летел в пропасть своего одиночества.

Потом он напился и заснул в туалете, туда никто не мог попасть. Ломали дверь.

Дальше все понеслось, поехало. На смену пятидесятым годам пришли шестидесятые, потом семидесятые. В шестидесятых годах стали осваивать целинные и залежные земли. Композиторы сочиняли песни, поэты писали стихи, журналисты статьи. «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная». В семидесятых стали строить Байкало-Амурскую магистраль. Пожилой певец с двойным подбородком пел с телевизионного экрана: «Бам, бам, бам, бам, бам – это поют миллионы».

Трофимов шагал в ногу со страной, ездил и на целину, и на БАМ, а когда в Тюмени нашли нефть, летал на озеро Самотлор, в котором не водилась рыба. Не жила там. Не хотела. Трофимов летал на вертолете, видел сверху желтые вздувшиеся болота, и ему казалось, что это нарывы на теле земли. Однако ученые утверждали, что болота нужны в природе и даже необходимы. И осушать их – значит насильственно вмешиваться в природу, и она может впоследствии отомстить. Природа лучше знает: что ей надо, а что нет. И человек – не Бог, а тоже часть природы, такая же, скажем, как болото.

Трофимов шел в ногу со временем, иногда спорил со временем, а иногда забегал вперед, что является приметой гения. Гений отличается от обычного человека тем, что забегает вперед на сто лет, а иногда и на двести.

В Италию Трофимов так и не попал. И Сильвана в Москву не приезжала. На английском и японском приходилось разговаривать с другими людьми. Однако от Сильваны, вернее, от любви к ней, остались привычки: много работать, не обращать внимания на женщин, то есть не быть бабником, не прятаться от жизни за женщинами.

У Гали были все основания считать себя счастливой женщиной. Основания были, а счастья не было. Она заполучила Трофимова территориально, но не могла заполучить его душу и не знала, что для этого надо делать. Она имела его и не имела одновременно. Противоречия распирали Галю изнутри, от этого она толстела и постоянно садилась на диету. Изнуряла себя голодом, постоянно ходила голодная и пасмурная. О каком счастье могла быть речь?

Помимо работоспособности и цельности Сильвана оставила в Трофимове чувство пропащей жизни. Золотистый стафилококк постарел вместе с Трофимовым и уже реже и не так нагло разгуливал по магистралям организма. Но все же он был. Трофимов это знал и ощущал как ущербность. Сейчас в моде термин: комплекс. У Трофимова был комплекс Сильваны. Он боялся, что это может быть заметно, и прятал комплекс за чванливостью. Многие считали Трофимова высокомерным.

На смену семидесятым годам пришли восьмидесятые. Итальянский неореализм ушел в прошлое. Умер родоначальник неореализма Чезаре Дзаваттини. Джина Лоллобриджида занялась фотографией. На смену старым звездам пришли новые: Стефания Сандрелли, потом Орнелла Мути. Но ни одна из них не могла потрясти Трофимова так, как Сильвана. Возможно, потому, что пятнадцать лет – это возраст потрясений, а сорок пять – нет. В сорок пять может потрясти только прямая и близкая угроза жизни. Например, ты открываешь дверь, а на тебя направлен пистолет, как в итальянских политических детективах последних лет. Ко всем остальным впечатлениям и эмоциям человек с годами адаптируется. Но возможна и другая причина верности. Трофимов был человеком стабильным. Стабильность – свойство натуры, одна из разновидностей порядочности. Трофимов не любил переставлять в квартире мебель, десятилетиями носил одно и то же пальто, работал на одном и том же месте. У него

была одна жена Галя, одна любимая женщина Сильвана, один и тот же отпускной месяц июль, один и тот же друг Кирка Додолев, с которым он дружил с шестого класса, с которым когда-то вместе смотрел фильм: «Всё о ней». И именно Кирка, а не кто-то другой, объявил, что отпуск придется перенести с июля на август, потому что в июле будет международный кинофестиваль и в Москву среди прочих приедет итальянская актриса Сильвана.

Приезжала Сильвана. Сбывалась мечта. Мечта была постаревшей, но все же живой.

Кирка Додолев сообщил эту новость по телефону. Он ждал реакцию, но Трофимов молчал. Мгновенно и сильно заболело горло. Он не мог говорить. Трофимов положил трубку и тут же уехал домой. А дома оказалось, что в кухне испортился водопроводный кран, вода беспрестанно капала с изнуряющим щелкающим звуком. Стучала в голову, как дятел. Трофимов завязал горло и вызвал водопроводчика. Ему казалось, что между водой, Сильваной и его здоровьем – какая-то мистическая связь. Но водопроводчик Виталий, вызванный по этому случаю, все объяснил вполне материально: в кране испортилась прокладка. Ее надо поменять.

– А прокладка у вас есть? – спросил Трофимов.

– Почему нет? Есть.

Виталий открыл свой чемоданчик и достал резиновое колечко.

– Вот она, – показал Виталий и стал разбирать кран. Трофимов удивился. Он привык к другой системе взаимоотношений между водопроводчиком и квартиросъемщиком. В этой прежней системе водопроводчик должен был сказать, что прокладки исчезли из продажи уже год назад, достать их нет никакой возможности и он берется достать через знакомых водопроводчиков. Ему самому ничего не надо, но труд других людей следует оплатить. Квартиросъемщик упраскивал, дребезжал хвостом и платил пять рублей за то, что стоило одиннадцать копеек и лежало в кармане у водопроводчика.

Виталий был другим. То ли выросла новая генерация водопроводчиков, то ли Виталий был индивидуально честным человеком и к генерации это отношения не имело.

– Сколько вам лет? – спросил Трофимов.

– Сорок пять, – ответил Виталий. – А что?

Трофимов удивился. Виталий выглядел как потрепанный практикант профессионально-технического училища. Генералу Гремину, за которого вышла замуж Татьяна Ларина, было сорок пять лет, и он воспринимался Пушкиным как старик «с седой головой». То ли в двадцатом веке, в связи с техническим прогрессом, изменились условия жизни – и человек не успевает изнашиваться к пятидесяти годам. То ли поколение, родившееся перед войной и в самом начале войны, отмечено инфантильностью. То ли молодость – индивидуальное свойство Виталия, записанное в его генетическом коде. Честность и молодость.

Виталий, если его отмыть и одеть, обладал внешностью, которую мог иметь и член-корреспондент, и путешественник, и бандит с большой дороги.

Трофимов однажды видел телевизионную передачу, в которой перед участниками передачи ставили большой фотопортрет, говорили, что это ученый с мировым именем, и, исходя из внешних данных, просили дать характеристику этого человека. Участники отмечали ум, скромность, сосредоточенность, высокий интеллект. Тогда ведущий сознавался, что это не ученый, а уголовник, тяжелый рецидивист. И просил посмотреть повнимательнее. Участники дискуссии смотрели и дружно находили в лице наличие умственной недостаточности, тупости и жестокости. Далее ведущий извинялся и говорил, что это все-таки ученый, физик-теоретик, основатель какой-то теории, и просил всмотреться еще раз. И опять из лица проступали: ум, сила, интеллект. Самое интересное, что и Трофимов воспринимал портрет в зависимости от того, какими глазами он на него смотрел. Стало быть, все зависит от психологической установки.

На Виталия Трофимов смотрел доброжелательно. Захотелось даже рассказать ему о фестивале и о Сильване. Большое событие переполняло Трофимова через край, и было необ-

ходимо выплеснуться хотя бы немного. Выплеснуть на жену – невозможно, с женами не принято говорить о других женщинах. С сыном тоже невозможно. Сын находился в таком возрасте, когда все отношения между людьми не имеют оттенков, они конкретны и называются конкретными словами. А какие слова можно было найти для отношений Трофимова и Сильваны... Сын бы его просто не понял. Приходилось рассчитывать на совершенно постороннего человека.

– А в июле будет фестиваль, – как бы между прочим проговорил Трофимов.

Виталий отвлекся от работы, посмотрел за окно. Там шел снег. До июля было далеко. Виталий снова обернулся к раковине, молча продолжал свою работу.

– Пресс-бар будет работать всю ночь. – Трофимов подумал, что, может быть, удастся посидеть с Сильваной за одним столом.

– Где? – неожиданно спросил Виталий.

– Что «где»? – не понял Трофимов.

– Пресс-бар этот где будет размещаться?

– В гостинице «Москва». А что?

– Ничего, – ответил Виталий.

– Вы смотрели фильм «Всё о ней»? Он шел в пятидесятых годах. Вы должны помнить.

– Ну... – проговорил Виталий.

– Смотрели или нет? – переспросил Трофимов. Это была очень важная подробность.

– Не помню.

– Значит, не смотрели. А то бы запомнили. Там была актриса... Она приедет на кинофестиваль.

– Так небось старуха уже, – предположил Виталий.

– Почему? – оторопел Трофимов.

– Фильм шел в пятидесятые, а сейчас восьмидесятые. Вот и считайте. Ей сейчас пятьдесят, а то и все шестьдесят.

Трофимов впервые за все время осознал, что время – объективный фактор, оно шло не только для него, но и для Сильваны. Но не стареют две категории людей: мертвые и люди из мечты. И все же Трофимов обалдело смотрел на Виталия с ничего не выражающим лицом. А Виталий в это время спокойно окончил работу и проверил результаты своего труда. Кран заворачивался плотно и без усилий, прокладка надежно перекрывала струю.

– Готово! – сказал Виталий и стал складывать инструменты в свой чемоданчик.

Трофимов спохватился и полез за бумажником. Раньше такая работа вознаграждалась рублем, но последнее время рубль ничего не стоит. За рубль ничего не купишь. Трофимов размышлял: сколько заплатить – трешку или пятерку? Пятерка – много: можно развратить рабочего человека, и он не захочет потом работать без чаевых, потеряет человеческое достоинство. Понятие «рабочая гордость» стало чисто умозрительным. И во многом виновата интеллигенция. Прослойка должна идти в авангарде общества, а не заигрывать с классом и не совать ему трешки.

Размышляя таким образом, Трофимов достал три рубля и протянул Виталию.

– Не надо, – отказался водопроводчик.

– Почему? – искренне удивился Трофимов.

– А зачем? Я зарплату получаю.

– У вас что, жэк борется за звание? – догадался Трофимов.

– За какое звание? – не понял Виталий.

– Бригады коммунистического труда.

– Я лично ни за какое звание не борюсь. Работаю, да и все.

– А у вас таких, как вы, много? – поинтересовался Трофимов.

– Таких, как я, один. Каждый человек уникален. И что за манера обобщать...

Трофимов застеснялся трешки и сказал:

– Ну что ж, большое спасибо... Если что надо, я к вашим услугам.

– Мне хотелось бы хоть раз попасть в пресс-бар, – сознался Виталий.

За окном шел снег. До июля было далеко, а в данный момент очень хотелось угодить Виталию.

– Ну конечно! – с восторгом согласился Трофимов. – С удовольствием...

Виталий ушел. Трофимов подумал о том, что стирается грань между классами. Сегодня уже не отличишь крестьянина от рабочего, рабочего от интеллигента. Все читают книги, и смотрят телевизор, и носят джинсы, которые свободно продаются в магазинах. Хорошо это или плохо? Трофимов не мог ответить однозначно и дал себе задание: подумать. Могла возникнуть интересная тема, которая требовала отдельного исследования.

В пресс-баре разрешалось курить. Помещение было маленьким, поэтому дым висел слоями, как перистые облака. Женщины плавали в дыму с голыми спинами, в украшениях. Было не разобрать: где иностранки, где наши. Все выглядели как иностранки. Официанты, правда, научились их различать наметанным глазом.

Трофимов сквозь дымовую завесу увидел себя в зеркале. Он не только не отличался от иностранцев, но был еще иностраннее: сухой, элегантный, в белом костюме из рогожки, с малиновым платочком в кармашке и таким же малиновым галстуком, пахнущий дорогим табаком и дорогим парфюмом.

Сильвану он увидел сразу. Она сидела за столиком возле стены и была на голову выше своего окружения. Она была такая же большая, роскошная и сверкающая, как тридцать лет назад. Возле нее – Трофимов это тоже заметил сразу – сидел вездесущий человек по прозвищу Бантик. Прозвище шло от профессии: женский портной. Бантик – прохиндей и красавец – всегда находился в центре событий. Трофимов мог всю жизнь мечтать сесть возле Сильваны. А Бантик – сидел и наливал ей шампанское в тяжелый фужер. По другую сторону от Сильваны сидел иностранец, представитель какой-то торговой фирмы, работающий в Москве. Возможно, он выполнял роль переводчика. Из двенадцати месяцев в году фирмач девять проводил в Москве, а три – в самолете, перелетая из одной страны в другую. Был он маленького роста, с красивым личиком, баснословно богат по нашим понятиям. А по западным понятиям – просто богат. Он пользовался большим успехом у женщин. Может быть, последнее обстоятельство и держало фирмача так подолгу в Москве. Русские женщины высоко котируются на Западе. Они искренни, романтичны, и их легче сделать счастливыми.

Бантик увидел Трофимова и помахал ему рукой, приглашая подойти. Пока что все складывалось удачно.

Подойдя ближе, Трофимов увидел за столиком нашего известного кинорежиссера. Он заметно скучал. Его лицо было лицом человека, который переживает вынужденное бездействие. Такие лица бывают у людей на вокзалах.

Трофимов не смотрел на Сильвану. Оттягивал этот момент. Он его боялся. Но вот оттягивать стало невозможно.

– Знакомьтесь, – бодро представил Бантик. – Это итальянская актриса...

– Я знаю, – перебил Трофимов и прямо глянул на Сильвану. Ему показалось, что он обжегся.

– А это наш журналист. Волк. Волчара, – представил Бантик Трофимова.

Фирмач перевел. Сильвана что-то спросила: видимо, не поняла, что такое «волчара».

– Хороший журналист, – объяснил Бантик. – Гранде профессоре.

Сильвана чуть кивнула, протянула свою большую белую руку. Трофимов смотрел на эту протянутую руку и не смел коснуться.

– Да садись ты. Чего стоишь? – удивился Бантик.

Столик был на шестерых, занято только четыре места. Оставалось два свободных. Бантик подбирал себе окружение. Иметь за столом Трофимова было достаточно престижно. Не Феллини, конечно, но все же... Бантик заботился об окружении, как все внешние люди.

Кинорежиссер вставил в протянутую руку Сильваны фужер с шампанским. Она не поняла, почему «гранде профессоре» не подал ей руки, но, может быть, у русских так принято. Сильвана поднесла фужер к божественным губам и какое-то время рассматривала Трофимова своими лошадиными глазами. Ему казалось, что он стоит в открытом пламени.

– Да садись же ты! – потребовал Бантик.

Трофимов отодвинул стул, чтобы сесть, но в этот момент к нему подошел человек с повязкой.

– Вас спрашивают.

– Меня? – удивился Трофимов.

– Вас, – убежденно сказал дежурный и показал на дверь.

Трофимов посмотрел в ту же сторону, но ничего не увидел за дымовой завесой.

– Сейчас. – Трофимов посмотрел на Сильвану и добавил: – Уно моменте.

Сильвана чуть заметно кивнула. Она вела себя как профессиональная красавица. Это была ее профессия: красавица. Женщина с этой профессией не будет занимать стол беседой, не возьмет собеседника за руку в знак доверия и расположения. Ей это не нужно. Разговаривать и брать за руку – это способ проявить к себе интерес. В некотором роде наступление. А красавица находится в состоянии активной обороны и как средство обороны выставляет стену между собой и окружающим миром. Стена эта прозрачная, но она есть.

И на нее наткнулся Трофимов, хотя не произнес с Сильваной и двух слов. Это наполнило его душу холодом и беспокойством.

– Сейчас, – в третий раз повторил он и пошел следом за дежурным.

Возле дверей дым был пожиже, и Трофимов увидел водопроводчика Виталия, сдерживаемого двумя дюжими молодцами. Виталий был в серой рабочей куртке и рыжей плоской кепочке из искусственной замши. Видимо, он дежурил в ночную смену, вызовов не было, ему надоело сидеть в пустом жэке – и он приехал, как договорились в феврале.

– Вот он! – завопил Виталий, узнав подходящего к дверям Трофимова. – Я ж вам говорил, а вы не верили, – упрекнул он дежурных. – Скажи им!

Трофимов растерялся. Виталий появился очень некстати, как говорится в пословице, был нужен Трофимову как рыбе зонтик. Но Виталий этого не знал. Не догадывался, что он зонтик. Его пригласили, он пришел, как договорились.

– Ну, я пошел, – сказал Виталий дежурным и протиснулся в бар. – Спасибо, что позвали.

Виталий подошел к Трофимову, огляделся по сторонам.

– Накурено тут, – заметил он. – Ну, где сядем?

Из дымных слоев возник Бантик и спросил:

– Ты не смываешься?

– Нет. Не смываюсь, – ответил Трофимов.

– А у тебя деньги есть?

– Есть.

– Ну так пойдем. А то неудобно.

Трофимов пошел следом за Бантиком. Виталий – за Трофимовым.

Все уселись за стол. Виталий оказался между Трофимовым и режиссером. Сильвана вопросительно посмотрела на Виталия, поскольку он был новым лицом и явно выбивался из общего стиля.

– Его друг, – представлял сам себя Виталий и похлопал Трофимова по плечу.

– Да, – подтвердил Трофимов и неожиданно для себя добавил: – Это наш русский Ален Бомбар.

– О! – изумилась Сильвана, забыв на мгновение, что она профессиональная красавица. – Се импосибле!

– Да, да, – подтвердил Трофимов. – Наш Ален Бомбар.

– А кто это? – тихо спросил его Виталий.

– Итальянка, – негромко ответил Трофимов.

– Да нет, тот мужик, за которого ты меня выдал.

– Потом, – сказал Трофимов.

– А разве в Союзе был этот эксперимент? – удивился фирмач.

– Конечно. Мы ни в чем не отстаем, – гордо заметил Трофимов.

– А я ничего и не говорю, – оправдался фирмач.

– Страшно было? – спросил Бантик: видимо, он для себя примеривал этот вариант.

Виталий посмотрел на Трофимова.

– Скажи, что страшно, – тихо посоветовал Трофимов.

– А ты думал... Еще как страшно, – убедительно сыграл Виталий.

– Это и ценно, – заметил кинорежиссер. – Когда не страшно, то нет и подвига.

Загрохотала музыка. Их столик стоял рядом с оркестром. Фирмач пригласил Сильвану танцевать. Она поднялась. На ней было шелковое платье цвета чайной розы. Горьковатый жасминный запах духов коснулся лица Трофимова.

Сильвана пошла с фирмачом в танцующую массу. Он был ей до локтя. Но на Западе это, наверное, не важно. Если богатый, может быть и до колена.

– Во кобыла! – отреагировал Виталий, имея в виду Сильвану.

Бантик увел маленькую блондинку, совсем хрупкую, как Дюймовочка.

– Ух ты, – восхитился Виталий. – Хоть за пазуху сажай.

Трофимов не обиделся на Виталия за Сильвану. Наоборот. Принизив «кобылой», он ее очеловечил. Как бы сократил дистанцию между недостижимой Сильваной и обычным Трофимовым. В конце концов все люди – люди, каждый человек – человек. Не более того.

– Хоть бы переоделся, – миролюбиво заметил Трофимов.

– А зачем? – удивился Виталий. – Мне и так хорошо.

– Тебе, может, и хорошо. Ты себя не видишь. А другим плохо. Им на тебя смотреть.

– Условности, – небрежно заметил Виталий. – А кто этот мужик?

– Который? – не понял Трофимов.

– Тот, за которого ты меня выдал.

– Ален Бомбар, – отдельно произнес Трофимов.

– Татарин?

– Француз. Он переплыл океан на надувной лодке.

– А зачем?

– Чтобы проверить человеческие возможности.

– Как это?

– Чтобы понять: что может человек, оставшись один в океане.

– А что он может?

– Он может погибнуть. А может уцелеть. От него самого зависит.

– А если бы этого француза акулы сожрали?

– Могли и сожрать. Риск.

– А зачем? Во имя чего?

– Ты уже спрашивал, – напомнил Трофимов. – Он хотел доказать, что люди, попавшие в кораблекрушение, погибают от страха, и только от страха. Он доказал, что если не испугаться, то можно выжить. Есть сырую рыбу и пить морскую воду.

– А он что, попал в кораблекрушение?

– Нет. Он не попадал.

– А зачем ему это все?

– Он не для себя старался. Для других. Он хотел доказать, что из любой ситуации можно найти выход.

– Ага... – Виталий задумался. – А ему за это заплатили?

– Не знаю. Может, заплатили, а может, и нет. Не в этом же дело.

– А в чем?

– В идее.

– А что такое идея?

– А ты не знаешь?

– Знаю. Но мне интересно мнение культурного человека.

– Идея – категория абстрактная, так же как мечта, надежда.

– А любовь?

– Если неразделенная, – ответил Трофимов и сам задумался.

Разделенная любовь превращается в детей, значит, это уже материя, а не абстракция. А неразделенная сияет высоко над жизнью, как мечта. Как все и ничего.

– Мне скучно, – вдруг проговорил режиссер. – Я умею только работать, а жить я не умею. А ведь это тоже талант: жить.

Виталий ничего не понял из сказанного. Трофимов понял все, но не мог посочувствовать. Для того чтобы сочувствовать, надо погрузиться в состояние собеседника. Но Трофимов, как рыба, был на крючке у Сильваны и слушал только свое состояние.

Сильвана и фирмач вернулись. Сели за стол. Сильвана неотрывно смотрела на Виталия, как будто на лбу у него были арабские письмена и их следовало расшифровать.

– Чего это она выставилась? – удивился Виталий.

– Спроси у нее сам.

Трофимов собрал в себе готовность, как для прыжка с парашютом, и пригласил Сильвану танцевать.

Сильвана поднялась и пошла за Трофимовым. Возле оркестра колыхалась пестрая масса. Танец был медленный. Трофимов положил руку на талию Сильваны. Талия была жесткая, как в гипсе. «Наверное, корсет», – подумал Трофимов. Ее груди упирались в него и были тоже жесткие, как из пластмассы. Их лица находились вровень. «Не такая уж и высокая, – понял Трофимов. – Метр восемьдесят всего».

Под глазами у Сильваны не было ни одной морщины. Кожа натянута, как на барабане.

«Так не бывает, – подумал Трофимов. – Не могла же она ни разу не засмеяться и не заплакать за всю свою жизнь».

От Сильваны ничего не исходило, ни тепла, ни холода, и Трофимову вдруг показалось, что он танцует с большой куклой и в спине ее есть отверстие для заводного ключа.

Танец кончился. Вернулись за стол.

– Вы помните ваш фильм «Всё о ней»? – спросил Трофимов у Сильваны.

– Я такого фильма не знаю, – ответила Сильвана.

– Ну как же... – растерялся Трофимов. – Он шел у нас... давно.

Сильвана изобразила на лице легкое недоумение.

– Чего это она? – спросил Виталий, поскольку разговор шел по-итальянски.

– Говорит, что не знает фильма «Всё о ней».

– А может, это и не она вовсе, – предположил Виталий.

Трофимов растерялся. Он видел, что та Сильвана и эта – одно лицо. Но Сильвана из мечты была настоящая, а эта – искусственная, будто чучело прежней Сильваны.

– Наверное, этот фильм у них иначе назывался, – предположил фирмач. – Ваш прокат иногда предлагает свои названия, более кассовые, как им кажется.

– Странно, – проговорил Трофимов.

Он проговорил это скорее себе, чем окружению. Но странность состояла не в том, что прокатчики придумывают свои названия, а в том – как выглядело осуществление трофимовской мечты. Как материализовалась его абстракция.

Если бы золотистый стафилококк вылез и спросил, по обыкновению: «Ну и что?» – Трофимову было бы легче. Он нырнул бы в свой привычный провал и отсиделся бы в нем. Но даже стафилококк молчал и не поднимал головы. Может быть, он умер? Сильвана его внедрила тридцать лет назад – и она же его ликвидировала через тридцать лет?

Сильвана пригласила Виталия танцевать и поднялась. Виталий остался сидеть.

– Тебя приглашают, – перевел Трофимов.

– Я не умею, – испугался Виталий.

– Выкручивайся как хочешь, – сказал Трофимов.

Ему вдруг стало спокойно. Он устал от панического напряжения рыбы на крючке. Захотелось удобно сесть, расслабиться, смотреть и слушать, а можно не смотреть и не слушать, а встать и уйти, например, в зависимости от того, что больше хочется.

Виталий первый, а возможно, и последний раз в своей жизни танцевал в пресс-баре кинофестиваля с итальянской кинозвездой. Он был ниже ее на голову и видел перед собой только украшения, выставленные на ее груди, как в ювелирном магазине.

Две большие руки лежали на его плечах, и ему казалось, что на плечи опустили два утюга: так было тяжело и горячо. От итальянки исходил какой-то мандраж. Виталию казалось, будто он зашел в будку с током высокого напряжения, которая стоит возле их жэка, на ней нарисованы череп и кости. Виталий держался за Сильвану и несколько опасался за свою жизнь. Не такая уж она была значительная, эта жизнь. Но другой у Виталия не было.

Сильвана наклонилась и что-то проговорила ему в ухо.

– Не слышно ни фиги! – прокричал Виталий.

Итальянка всматривалась, как глухонемая, пытаясь по движению губ понять смысл сказанного.

Виталий показал на оркестр, потом на уши, потом отрицательно помахал рукой перед лицом. Этот комплекс жестов должен был означать: не слышно ни фиги.

Сильвана кивнула головой – значит, поняла – и показала на дверь. Виталий догадался: она приглашает его выйти на улицу, поговорить в тишине и на свежем воздухе.

– Давай, – согласился он. Взял Сильвану под локоть, и они пошли из бара.

Они пробирались мимо столиков, мимо Трофимова и фирмача. Режиссер куда-то исчез: видимо, ушел домой и лег спать. Бантик припарковался к другому столику, рядом с блондинкой, похожей на Дюймовочку. Он увидел Виталия и Сильвану, отвлекся от Дюймовочки и посмотрел им вслед. Хотел что-то крикнуть, но не успел.

– А, плевать на них, – решил он.

– На кого? – уточнила Дюймовочка.

– Да на них, на всех. Понтырщики.

Дюймовочка самодовольно вздернула носик. Бантик плевал на всех, кроме нее. Значит, она превосходит. Имеет преимущество над всеми. Бантика, однако, что-то мучило. Один пересек океан на лодке, другой «гранде профессоре», третий иностранец. Все выкладывают на стол свои козыри. А Бантик мог выложить только рубли, что немало. Но все же этого мало.

– Да брось ты, – утешила Дюймовочка, уловив его настроение, но не поняв причины. – Ты молодой, а они старые.

Бантик взбодрился. Как он мог не учесть такой козырь, как молодость, перспектива жизни. Он еще не знал, что день тянется долго, а десятилетие пролетает в мгновение. Через два мгновения он уже не будет молодым и надо добывать более стойкие козыри.

Сильвана обогнула гостиницу «Москва» и вошла в нее с парадного подъезда, мимо высокомерного швейцара, похожего на президента маленького государства. Виталий заробел под его всевидящим и одновременно отсутствующим взглядом, но Сильвана обернулась, как бы проверяя целостность и сохранность своего спутника, и Виталий отважно шагнул следом, хотя и не понимал: куда его ведут и зачем.

Они вошли в просторный лифт, и даже в лифте стало ясно, что начинается другая жизнь. Виталий возносился в другую жизнь.

Номер Сильваны был высокий, потолки метров шесть. Можно сделать второй этаж, и получится двухэтажная квартира, потолки – три метра, как в современных домах улучшенной планировки.

– Высоко, – сказал Виталий и поднял руку вверх.

Сильвана подняла голову, но ничего интересного не увидела. Для нее эта высота была привычной. Видимо, у нее дома были такие же потолки, если не выше. Она не поняла, что поразило русского Бомбара.

– Ке? – спросила Сильвана.

– Да ладно, ничего, – ответил Виталий и сел в кресло, мучаясь запахом. В номере Сильваны, несмотря на просторное помещение, стоял удушающий запах ее духов.

«Комары дохнут», – подумал Виталий, и это был единственный положительный довод. В Москве стояло жаркое лето – комариная пора. Комар пошел свирепый, распространился даже в городе. На асфальте. Сейчас и моль пошла особая, приспособилась жрать синтетику. Но с другой стороны, что ей жрать, когда натуральную нитку уже не производят. Либо чистая синтетика, либо пополам. И человека потихоньку начинают приучать к синтетике. Говорят, выпустили синтетическую черную икру. По виду не отличишь.

Но при чем тут моль и комар? Сильвана протянула в сторону Виталия две руки и заговорила по-своему. Слова стояли плотно друг к другу и на слух были круглые и гладкие, как бильярдные шары. Смысла Виталий не понимал, однако догадывался, что итальянка говорит что-то важное для себя. У нее даже слезы выступили на глазах. Одета она была чисто, лицо гладкое от хорошего питания, натуральную икру небось ложками ела.

– Жареный петух тебя не клевал, – сказал ей Виталий. – Пожила бы, как моя Надька, тогда б узнала. А то вон... потолки, бусы...

– Ке? – проговорила Сильвана.

– Да так. Ничего. С жиру, говорю, бесишься. У человека трудности должны быть. А без трудностей нельзя. Разложение. Поняла?

Сильвана заговорила еще быстрее. Слова ее так и сыпались, сшибались и разлетались. Под глазами было черно, как у клоуна. Виталию стало ее жалко.

– Да брось ты, – сказал он. – Внуки-то у тебя есть? Щас пожила, под старость с внуками посидишь. Так, глядишь, и время пройдет. Жизнь – ведь это что? Времяпрепровождение. Если весело, значит, время быстро идет. А если скучно – долго тянется. У меня вон сменщик Кузьев. Я вчера пошел, договорился в девяносто третьей квартире стиральную машину на прямую к трубе подвести – двадцать пять рублей. Каждому по двенадцать пятьдесят. Я договорился, а он Николая взял. А меня, значит, в сторону. Ну? Это честно? Нечестно. А я без внимания. Я – выше! Поняла? А ты говоришь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.